

1

Знаете ли вы, что значит быть бедным? Быть бедным не той бедностью, на которую некоторые люди жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным – ужасно, отвратительно бедным? Бедность, которая так гнусна, унизительна и тягостна, – бедность, которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости; которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку; которая лишает вас самоуважения и побуждает вас в замешательстве скрываться на задних улицах вместо того, чтобы свободно и независимо гулять между людьми. Вот такую бедность я разумею. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который гложет сердце благонамеренного человеческого существа и делает его завистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжиревшую праздную женщину из общества, проезжающую в роскошной коляске, лениво развалившись на подушках, с лицом, раскрасневшимся от пресыщения; когда он замечает безмозглого и чув-

ственного модника, курящего и зевающего от безделья в парке, как если б весь свет с миллионами честных тружеников был создан исключительно для развлечения так называемых «высших классов», – тогда его кровь превращается в желчь и страдающая душа возмущается и вопиет:

– Зачем такая несправедливость во имя Божие? Зачем недостойный ротозей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству, когда я, работая без устали с утра до ночи, едва в состоянии иметь обед?

Зачем, в самом деле? Отчего бы сорной траве не цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но... на каком опыте! Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем это правда – более правдивая, чем многое, называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях, под точно таким же давлением, сознавая, может быть, временами, что они опутаны проком, но они слишком слабы волей, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь: примут ли они во внимание данный мне урок? В той же суровой школе, тем же грозным учителем? Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который не переставая, хотя и безгласно, работает? Познают ли они Вечного действительного Бога, как я принужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут

для них ясными и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым!

Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство; я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие находятся в подобном положении. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни – по порядку, как они происходили, – предоставляя более самонадеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования.

Во время одной жестокой зимы, памятной ее полярной суровостью, когда громадная холодная волна распространила свою леденящую силу не только на счастливые Британские острова, но и на всю Европу, я, Джеффри Темпест, был один в Лондоне, почти умирая с голоду. Теперь голодающий человек редко возбуждает симпатию, какую он заслуживает, так как немногие поверят ему. Состоятельные люди, только что поевшие до пресыщения, – самые недоверчивые; многие из них даже улыбаются, когда им расскажут про голодных бедняков, точно это была выдуманная шутка для послеобеденного развлечения. Или с раздражающе важным вниманием, характеризующим аристократов, которые, задав вопрос, не ждут ответа или не понимают его, хорошо пообедавшие, услышав о каком-нибудь несчастном, умирающем от голода, рассеянно пробормочут: «Как ужасно!» – и сейчас же возвратятся к обсужде-

нию последней новости, чтоб убить время, прежде чем оно убьет их настоящей скукой. «Быть голодным» звучит грубо и вульгарно для высшего общества, которое всегда ест больше, чем следует.

В тот период, о котором я говорю, я, сделавшийся с тех пор одним из людей, наиболее вызывающих зависть, – я узнал жестокое значение слова «голод» слишком хорошо: грызущая боль, болезненная слабость, мертвенное оцепенение, ненасытность животного, молящего о пище, – все эти ощущения достаточно страшны для тех, кто, по несчастью, день ото дня подготавливался к ним, но, может быть, они много больше для того, кто получил нежное воспитание и считал себя «джентльменом». И я чувствовал, что не заслуживаю страданий нищеты, в которой я очутился. Я усидчиво работал. После смерти моего отца, когда я открыл, что каждое пенни из его воображаемого состояния принадлежало кредиторам и что из нашего дома и имения мне ничего не осталось, кроме драгоценной миниатюры моей матери, потерявшей жизнь, произведя меня на свет, – с того времени, говорю я, мне пришлось трудиться с раннего утра до поздней ночи. Мое университетское образование я применил к литературе, к которой, как мне казалось, я имел призвание. Я искал себе занятий почти в каждой лондонской газете. Во многих редакциях мне отказали, в некоторых брали на испытание, но нигде не обещали постоянной работы.

Кто бы ни искал заработка одной головой и пером, в начале этой карьеры с ним будут обращаться как с парией общества. Никому он не нужен, все презирают его. Его стремления осмеяны, его рукописи возвращаются

ему непрочитанными, и о нем меньше заботятся, чем об осужденном убийце в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен, почтенный священник навещает его, а его тюремщик иногда не прочь даже сыграть с ним в карты. Но человек, одаренный оригинальными мыслями и способный выражать их, считается худшим из преступников, и его, если б могли, затолкали бы до смерти.

Я переносил в угрюмом молчании и пытки, и удары, и продолжал жить – не из любви к жизни, но единственно потому, что презирал трусость самоуничтожения. Я был еще слишком молод, чтоб легко расстаться с надеждой. У меня была смутная идея, что и мой черед настанет, что вечно вращающееся колесо фортуны в один прекрасный день поднимет меня, как теперь понижает, оставляя мне лишь возможность для продолжения существования, – это было прозябание, и больше ничего. Наконец я получил работу в одном хорошо известном литературном издании. Тридцать романов в неделю присылались мне для критики. Я приобрел привычку рассеянно пробежать восемь или десять из них и писал столбец громовых ругательств, интересуясь только этими, так случайно выбранными; остальные же оставались без внимания. Такой образ действий оказался удачным, и я поступал так некоторое время, чтобы понравиться моему редактору, который платил мне щедрый гонорар в пятнадцать шиллингов за мой еженедельный труд.

Но однажды, вняв голосу совести, я изменил тактику и горячо похвалил работу, которая была и оригинальна, и прекрасна. Автор ее оказался врагом журнала, где я работал. Результатом моей хвалебной рецензии

произведения ненавистного субъекта было то, что личная злоба издателя взяла верх над добросовестностью, и я лишился заработка. После этого мне пришлось влачить бедственную жизнь наемного писателя, живя обещаниями, которые никогда не выполняются, пока, как я сказал, в начале января, в разгар лютой зимы, я не очутился буквально без гроша, лицом к лицу с голодной смертью, задолжав месячную плату за свою убогую квартирку, которую я занимал на одной из глухих улиц, недалеко от Британского музея.

Целый день я бродил из одной газетной редакции в другую, ища работу и не находя ее. Все места были заняты. Так же безуспешно пробовал я представить свою рукопись, но «лекторы» в редакциях нашли ее особенно бездарной. Большинство из этих «лекторов», как я узнал, были сами романисты, которые в свободное время прочитывали чужие произведения и произносили свой приговор. Я никогда не мог найти справедливости в такой системе. Мне кажется, что это – просто-напросто покровительство посредственности и подавление оригинальности. Романист-«лектор», который добивается места в литературе для самого себя, естественно, скорее одобрит заурядную работу, чем ту, которая могла бы оказаться выше его собственной. Хорроша или дурна эта система, но для меня и для моего литературного детища она была вредна.

Последний редактор, к которому я обратился, по-видимому, был добрый человек; он смотрел на мое потертое платье и изнуренное лицо с некоторым состраданием.

– Мне очень жаль, – сказал он, – но мои «лекторы» единогласно отвергли вашу работу. Мне кажется,